

Жонглеры

Автор:

[Глория Му](#)

Жонглёры

Глория Му

Героиня «Вернуться по следам» стала старше, опытнее, мудрее, но также внимательно смотрит на жизнь, людей и животных. Текст Глории Му 2009 года сразу разобранный на цитаты.

...Чем дольше я думала эту мысль, тем больше она мне нравилась. Бежать надо не от, а к...

...учиться надо у разных людей, а то так навсегда и останешься учеником такого-то...

...Так легко любить собак больше, чем людей! Люди неуправляемы, их не заставишь любить по команде...

Содержит нецензурную брань.

Глория Му

Жонглёры

я в проезжающем трамвае

себя увидел

счастливый путь – машу рукой

не надо слез и оправданий

прощай родной

А. М.

* * *

Выбиралась из Москвы, как муха из сметаны, – нет, мне не было вкусно, безнадежно мне было, беспросветно и тошно.

Досадные мелочи, крупные неприятности, внезапная работа – никто, никто не хотел меня отпускать, даже те, кому я ну совсем не могла пригодиться.

Последние сутки вязкого кошмара – восемнадцать часов монтажа в одном из самых толстосумых московских клубов, ночь работы – праздник, который всегда, римские каникулы, блестящие от масла красотки, картонные улыбки цирковых, утомленные роскошью гости...

«А что сейчас будет? Фейерверк? Ну на?, выпей с нами!» Нет, никакой из меня холуй, польский гонор толкает под локоть – выплеснуть виски в лицо, а в голове вертится инструкция для службы безопасности клуба: с гостями обращаемся бережно, бережно с гостями обращаемся... Я медленно выдыхаю сквозь стиснутые зубы, улыбаюсь, отрицательно качаю головой, легко пробегаю пальцами по клавишам пульта – и вокруг райской птицы, поющей на сцене, расцветают фонтаны искр.

А в шесть утра я выныриваю из-под земли на Курском вокзале, который бьет в лицо меня – распыленной пятерней вони.

Они кажутся особенно некрасивыми сейчас, серым утром, – серые, угрюмые, навсегда усталые лица, скверная одежда, скверные манеры, скверный, невыносимый, оглушающий запах толпы, тяжелый ее гул.

И я успокаиваю себя, как нервную лошадь, – ну-ну, девочка моя, это всего лишь люди.

Закогтив билет, уношусь дальше в день – обычная суета перед отъездом, звонки, извинения, ненужные подарки забытым людям, кошка, сбившаяся маленьким злобным комком на ворохе моей одежды, отчаянно някающая мне розовой акульей пастью с крошечными острыми зубами.

Я беру ее в руки, чернокурую бестию, прижимаю к себе мою недобрую девочку, но нет, обещания лживы и бесполезны, для нее завтра – не существует, скоро – пустой звук.

Вечер. Ночь.

Мой братец, похожий на гнома-переростка, на бородатый пельмень, на добродушного громилу из злого мультика, на дикого кабана-оборотня, на...

Отсутствие сна играет со мной злую шутку, превращает реальность в хрупкое кружево театральной декорации, окружающих – в персонажей комиксов.

Брат провожает меня в недлинное, запоздалое путешествие. Перекладывает рюкзак из одной руки в другую. Поглаживает мимолетно по плечам. Беспокоится.

Из подсвеченной синим, дымной, просторной полумглы выползает поезд, раскладывает на перроне плотные желтые квадратики света из окон.

Поезд тоже выглядит бутафорским – густо и грустно вздыхает, вздрагивая облезлыми боками, словно сделанными из тонкой, непрочной фанеры, ветхий, грязный и разве что не перехваченный скотчем.

Проводницы под стать, в свете фонарей – синюшно-бледные, в свете вагонных ламп – восковые, отечные, с глухими темными подглазьями, словно истасканные, истосковавшиеся, безобидные от бессилия упырицы.

Я еду в плацкарте – других билетов «сегодня – на сегодня» не было. Мы проходим в вагон, пусто, пусто, тусклый свет ложится копотью на лица, на стекла окон, и только впереди яркой нотой – дребезжащий, скандальный визг. Старушечий голос мечется в тесной коробке, бьется бражником в стены, ему вторит разбитый, пьяненький тенорок, и хрипло ухают матерные басы – ругаются трое.

– Кажись, у тебя в купе. Ну ты везун. – Брат кидает мне рюкзак, протискивается вперед. Воин, защитник, а как же. – Так, я не по?эл, шо за дела?

– Ты чё погнал? Ты ктобляваще? – вскидывается лысый, испитой, измятый бас.

– Сядь. – Брат несильно толкает его в грудь, и тот плюхается на полку. Сидит тихо.

Связываться с моим братом не стоит – это сразу понятно. Есть такое украинское слово – «кремезный». На русский его сложно перевести. Крепкий, плотный, коренастый, сильный, кряжистый – вот это все вместе и есть «кремезный». Мой брат как раз такой – не с кубиками на животе, а с валиками на боках, как немолодой злодей из американской глубинки в фильмах класса «Г», из тех злодеев, что, круша мебель, вышвыривают друг друга из бара, а после удара табуреткой по черепу трясут брылями, роняя слюни, поднимаются и, покачиваясь, снова лезут в драку.

– Бабусю, чи вас эта быдлота обижаает? – Брат переходит на суржик только в двух случаях – когда прикидывается «безвинным страдальцем, терпящим от любви» перед своей красавицей-женой, или когда собирается конкретно на кого-то наехать.

– Ой, сы?ночка, так это ж пьянь, пьянь окаянная, и как таких только в паровоз пускают, я удивляюсь! Уж ты наведи порядок... Ты мужчина военный, я вижу... – Старушка придирчиво осматривает братца – ботинки-милитари, зеленые штанцы фасона вьетнамитской войны, натовский свитер, короткий рыжеватого-седой бобрик – золото с серебром. – А это ж пьянь! Пьянь подзаборная, тьфу! –

Высунувшись из-за браткиного плеча, словно из-за дерева, картинно плюет в обидчиков. – Пьянь! И пьяню погоняет! А еще кота втащили! Я грю – животную в багаж! Животную в багаж! Так положено! А они меня – по матушке, меня, пожилую женщину. Ну, ништо, нашлась на вас управа! – кивает, чинно поджав сухие губы.

– Кота? – Брат поворачивается к пьянчужкам, и тут, в короткой тишине, внезапно раздается тоненький, пронзительный мяв.

– Так это... Как же в багаж? Он же махонький совсем... Котенёночек. – Второй мужичонка, худой, кадыкастый, в китайских кроссовках, спортивных штанах и широкой кожаной куртке «с Черкизона», протягивает брату маленького черного котенка, пушистого, с круглыми трогательными ушками. – Матери везу. В подарок. Это такой кот, у-у-у! Бумер назвал. Вишь – черный! Так я и назвал – Бумер. – Мужичонка тихо смеется, нежно прижимает котенка к щеке и запекает неожиданно сильным, верным тенором, пританцовывая и нянькая котеночка на ладони:

Ведь у меня есть черный Бумер – и-их!

Он всегда со мной.

Ведь у меня есть черный Бумер – ик!

Быстрый и шальной.

Ведь у меня есть черный Бумер – и-тить!

Бумер заводной...

– Ну-ка дай! – Брат сгребает котенка, поднимает к свету, щурясь, пытается рассмотреть. Ребенок кошки заходится в плаче, извивается, тянет тонкие лапки с растопыренными ладошками в сторону тенора.

– Митя, отдай! Отдай! Ему страшно. – Я кладу руку брату на предплечье.

– Так я – посмотреть, чего ты? Я ж ничего такого, – смущенно говорит он, возвращая Бумера владельцу. Котенок сразу успокаивается, рассыпается бархатным, но и звонким воркованием, заминая передними лапками шею хозяина.

– Он ему теперь как мамка, – объясняю я брату. – От одной мамки его уже забрали, а ты теперь еще от другой тащишь. Вот он и напугался...

– Мамка! Да какая мамка! Барахло бессовестное, пьянь! – возмущенно вклинивается старуха. – А ну не мучь животную!

– Кто тут мучит? Кто мучит? Да я в котах поболее... всяких понимаю! У меня знаешь какой кот был? Во какой! – Мужичонка показывает свободной от котенка рукой размер традиционного мифического сома. – Белый весь, один глаз – зеленый, один – синий. Гиви звали. Везде за мной ходил. Куда я – туда и он. Когда старый стал, все зубы съел, так я самолично ему нажевывал рыбку там, мяско... Коты – это, знаешь... Это коты! Дело нешутейное!

– Точно, точно, – с удовольствием подхватывает братец. – Коты – это... Коты! У нас у самих двое, жопы полосатые, здоровенные, как арбузы! И всё понимают! Вот говорят – собаки, а собаки – что? Собаки – тьфу против котов!

– Дак и я ж про то! – Мужичонка с котом мелко кивает. – Собаки – это такое... Сесть-встать, туда-сюда... А кот – он все сам понимает... Вот Ньюшку-то возьми, мамку его, – тычет братцу котенком в нос, – сама пришла... На работу устроилась, типа... В офис к нам, я в офисе работаю... Так всех мышей до одной повывела! Нету ни одной мышки в офисе!

– Какие тебе мыши в офисе, не бреш! – ворчит старуха.

– Так я ж говорю – нету! Повывела всех! – ликует мужичонка.

– Провожающих прошу покинуть вагон! – Проводница протаскивает мимо нас свое оплывшее, грушевидное тело с усилием, словно улитка – домик.

– Ну, все. Все. Поехали. А ну уступи место девушке. – Брат сгоняет лысого с полки, усаживает меня. – Ботиночки тебе расшнуровать? – Он ко всем женщинам

относится как к принцессам, хотя я сейчас больше похожа на свинопаса.

- Нет, Мить. Спасибо. Иди уже.

- Смотри. Ну, граждане хорошие, бабуся мне тут не обижать, сестренку мою не обижать...

- А то - что? - с насмешливой угрозой интересуется лысый.

- А то яйца тебе оборвет и сожрать заставит, - мирно, даже ласково отвечает братец. - Смотри, орел, я тебя по-хорошему предупреждаю. Сестренка у меня - девушка серьезная. Обижать ее не надо, целее будешь.

Лысый окидывает меня быстрым, оценивающим взглядом - говнодавы «шелли», серые английские джинсы, спортивная курточка с капюшоном, стриженный затылок, - молча цепляет со стола початую бутылку «Очаковского» и удаляется в соседнее купе.

Я усмехаюсь. Как же это мы, вполне взрослые люди (братцу сильно за сорок, мне - за тридцать), работники искусства, умудряемся до сих пор выглядеть опасной полушпаной?

- Бабуся, вы ж тоже... Котеночек - дело хорошее, мешать вам они не будут... Сестричка вон моя присмотрит... чтоб не мешали... Вы уж того... этого...

- Что ж я - не человек? Не понимаю? Если ко мне по-человечески, то я - ничего, все понимаю... Надо - так надо, бог с тобой, сы?ночка...

Поезд протяжно вздыхает, фыркает, как старая лошадь, и братец, расцеловав меня на прощание, выходит из вагона.

Под ногами лязгает, вздрагивает, и перрон начинает уплывать назад. Мужичок с котенком, потеряв равновесие, валится на полку, и я понимаю, что он действительно очень пьян, пьян как мотылек.

- А матрасец-то мне, доча...

– Так чего ж вы к девушке, дайте я, мадам, все в лучшем виде... ик!.. вам доставлю. – Мужичок пытается подняться, шебуршась, как опрокинутый на спину жук.

– И-и-и, сиди уже... Девка-то покрепче тебя будет. Вы что же, оба из военных? Или милиционеры? Счас модно девушкам в милицию идти, у меня – внучатая племянница, и тоже пошла... А чё ж? Льготы у вас, форма, опять же... Сериал этот... наш... как там?.. я наши-то не люблю... про Каменскую, с этой, с интердевочкой...

Я молча улыбаюсь, снимаю матрас с верхней полки, и бабка начинает моститься спать. Достает из сумки простынку, быстро и нежно, как младенца, пеленает матрас, повязывает темный платок поверх белого, ложится, набрасывает на себя пальтишко вместо одеяла, прикрывает глаза.

Сухонькая мордочка и во сне остается трогательно-строгой.

Поезд набирает скорость, и полупустой вагон мотает так, словно его раскачивает, как колыбель, какой-то нервный великан – плюти-плют, плюти-плют, плютиплютиплютиплют...

Я сажусь, чтобы расшнуровать ботинки, но у меня кружится голова. Опираюсь о стену, пережидаю. Мужичку напротив тоже удастся сесть, и мы смотрим друг на друга, оба – пьяные, но я от усталости, все вертится перед глазами, плывет, как будто мы не в поезде, а в какой-нибудь тоскливой песне Лёлика Федорова.

– А Серый где? А пиво где? – первым наводит резкость мужичок. – А... Ушел... А я вот котенёночка матери везу... В подарок... Пусть, думаю, кот вырастет... Снежанка будет приходить, играть с ним будет... Ей Светка кота не разрешает... А имя красивое – Снежана, скажи? Это Светка выдумала... Девять лет. На фортепьяно ходит... Вся в меня... Я ж баянист был первый... Ох, и любила меня Светка... Я ж баянист был, за мной девки – табуном, все как есть мои были... Ох, и любила... Сядет, бывало, где я, на свадьбе или где... Кулачком щеку подопрет и слушает, аж до слез... Другие девки танцуют, а она так и сидит, и смотрит... Ни с кем не шла... Светка-то моя... бывшая... Так я и женился... А красивая была! Ну, и сейчас красивая... Только уж больно злая. Как ушла к этому... к Серому... Не к тому Серому, что ушел... А к этому... Он хоть и бандит, а мужик неплохой... Светка-то, слышь, как замуж по второму разу вышла,

выдумала к Снежанке меня не допускать... Пьянь, говорит, как эта вот, – мужичок опасливо понижает голос и кивает на мумию старушки, – пьянь окаянная, мало я от тебя терпела? А Серый ей – отец, говорит, слышь, есть отец. Пусть. И деньги берет. Светка-то, было, в рожу кинула. Говорит, не нуждаемся в твоих подачках, пьянь... Ну, так... И дом у них свой... С балконом... С фортепьяной – ну, пианину так по-научному называют... И тачка, и гараж... А Серый говорит – отец, имеет право... И берет, сколько привезу... Снежанке-то... И подарки, и все... Хороший мужик... Я в Москву-то на заработки езжу, а так я – баянист... Самоучка... Но первым был у нас... Снежанка-то в школу ходит, в музыкальную... Спрашивает меня – как тут играть, папка? Ну, я сяду... показываю, как... А она мне – у тебя, папка, пальцы неправильные... Ап-пли-ка-тура, слышь... А я ей – что пальцы? Ты, говорю, Снежанка, музыку слушай... Главное, чтоб музыка была правильная! Пианину-то я быстро освоил, это тебе не баян, там попроще будет... Только пальцы вот... неправильные пока... А теперь котеночка привезу, Снежанка и сама будет к матери бегать... А то мать скучает за ней, за внучкой, а сама к ним не ходит... Со Светкой у них, знаешь... Как сойдутся, так чуть не до драки... А теперь Снежанка сама... Большая уже... Девять лет, слышь... – Мужичок сползает по стеночке, заваливается на бок, бормотание плавно сменяется храпом, но котенка при этом все боится, прижимает правой к плечу.

А я думаю: эх ты, Светка-котлетка... Полюбила баяниста, называется... Небось гордилась еще перед девками, как замуж вышла. А ведь ежу было понятно, что сопьется... баянист-то...

С этими бабьими мыслями скидываю ботинки, забрасываю рюкзак на верхнюю полку и сама лезу следом.

Проводницы нет как нет, никто не проверяет билеты, никто не втюхивает сырое и серое постельное белье. Время – за полночь; наверное, превратилась в тыкву...

Я вытягиваюсь на жесткой полке с целью немедленно и наконец-то уснуть, но – дудки.

В голове грохочет, словно там носятся по кругу товарняки, снаружи ритмично бьет железными копытами поезд, несущий меня, и котенок, котенок еще. Я подхватываюсь на каждый писк, боюсь, что этот пьяный тип его придавит во сне.

Но котенок оказывается не промах. Баянист ворочается, а зверек не покидает корабль, аккуратно переползает с плеча – на спину, со спины – на грудь, по ходу движения. И я впервые с приятнью думаю о собственном возрасте – когда бы я была помоложе лет на десять – пятнадцать, то быстро навешала бы мужику по ушам и отняла котенка – спасла, а как же. А теперь – нет, не буду я никого спасать, пусть живут безмятежно.

Я закрываю глаза и проваливаюсь – не в сон, в колодец синей мглы, где поезд отбивает монотонную чечетку под рахманиновскую рапсодию на тему Паганини и пляшет, мерцая лысиной и черными очами, Пабло Диего Хозе Франциско де Паула Хуан Непомукено Криспин Криспиано де ла Сантисима Тринидад Руиз и Пикассо, полуголый, в просторных цветастых труселях до колена, басовито начитывая рэп чисто по-русски: «Коричневый котенок, ребенок кошки, похотливой походкой скитаюсь с котами, с хворыми воробьями ем мокрые крошки, коричневый котенок, ребенок кошки...»

«Почему коричневый, он же черный?» – удивляюсь я во сне и усилием воли останавливаю поезд, чтобы разобраться, рассмотреть котенка получше. Поезд страшно дергается и замирает. Я открываю глаза, оглядываюсь. Никого нет, ни старушки, ни баяниста с котенком. За окном – город Тула, серый еще рассвет, но из-за горизонта, в другом окне, напористо лезет красное, тяжелое солнце.

Утро.

Я снова засыпаю, на этот раз тяжело и просто как кирпич.

– Ах ты ж, бедное мое... Дитяtko, вставай, вставай, приехали уже! И не добудишься... Вставай, слышишь меня?

По руке ползет теплая, противная гусеница, я стряхиваю ее и резко сажусь. С размаху стукаюсь головой о третью полку – салют, с прибытием.

– Ой! – Проводница, еще пьяненькая со вчера, испуганно прикрывает пухлые, мятые щеки руками. – Я ж не хотела! Вставай, дитяtko, таможня уже ходит... Пойдем, я тебе туалет открою, покараулю, они ж еще долго будут...

Я слезаю с полки, натягиваю ботинки, иду за ней следом, послушно, как ослик, мотаю ушибленной головой.

В сортире мокро, грязно и, к счастью, нет зеркала. Умываюсь железнодорожной водой, чищу пальцем зубы. Давно я никуда не выбиралась, ох давно...

– Идут! Идут вже. – Проводница заполошно стучит в дверь, я выхожу, возвращаюсь на место, таможенники горохом рассыпаются по вагону и разочарованно находят там одну меня. Не сезон, поезда на юг идут пустыми.

Мне обиженно шлепают печать в незаполненную декларацию, и все, я сва-а-а-а-а-абоден – выхожу в солнечный осенний день как есть, в расшнурованных ботинках, приглаживая пятерней растрепанные со сна волосы.

Сколько я здесь не была? Лет девять уже?

Я тщательно шнурую ботинки и выхожу в город.

Он мне не родной, жила я здесь недолго, каких-то пять лет, и покинула его не ребенком, но город словно бы стал мне тесен, как юношеская блузка, маленький, ветхий, с нелепо-новенькими блямбами рекламных щитов на старых стенах.

С трудом нахожу нужную мне остановку трамвая, все как во сне – и знакомо, и не узнать, и люди выглядят ряжеными, словно статисты французского фильма про русскую жизнь: мужчины в кепочках из пятидесятых, женщины в косыночках из семидесятых и юные девы с завивками, ярким макияжем – ревущие восьмидесятые.

И тут я вспоминаю – да носят же так сейчас, носят, мода восьмидесятых вернулась, все в порядке, не бред, не сон, а косыночки с кепочками будут жить вечно.

Трамвай сворачивает в совсем уж незнакомые места, и меня отпускает – нет нужды узнавать, сверять реальность с воспоминаниями.

Сажусь в красное металлическое креслице у окна и смотрю, что показывают.

Я – идеальный зритель. Я люблю смотреть. Я могла бы провести всю жизнь, глядя в окно – трамвая, поезда, самолета. Мое место – в зрительном зале, там мне хорошо, меня охватывает радость предвкушения – вот сейчас, сейчас покажут что-нибудь интересное!

Мои ожидания редко бывают обмануты, порадовать меня легко – именно потому я и не могу сделать это одной из своих бесполезных профессий. Платят только говорящим зрителям, критикам, а кому нужен критик, которому нравится почти все, что показывают?

И я смотрю, смотрю совершенно бесплатно, бросить это дело я не могу, я – зритель-маньяк. А потом делаю сама – что-нибудь, что можно показать другим, уже за деньги. Тем и живу. Сколько себя помню, занимаюсь всякой ерундой, тем, что для приличных людей только хобби, – езжу верхом, воспитываю чужих собак, рисую, делаю кукол, создаю железных монстров, жонглирую огнем на сцене, и вот теперь – пиротехника, как венец моей бесполезной, но и, согласитесь, безобидной деятельности.

Что может быть глупее, чем пускать свою жизнь на ветер?

Целый день, не разгибаясь, монтировать линию, для того чтобы тридцать секунд отплясали фейерверки, отгорели, распуская яркие хвосты искр, шутихи?

Но – ах! – как это красиво! И какие счастливые, совершенно детские улыбки расцветают на лицах зрителей, когда они смотрят на этот нестрашный, прирученный огонь.

Трамвай везет меня куда-то на окраину города, мимо новостроек, почти неотличимых от московских, мимо серых бетонных заборов промзоны, поросших кустами колючей проволоки, в район двухэтажных обшарпанных домиков, тихий, пыльный, больше похожий на заброшенный курортный городок.

Я выхожу у маленького магазинчика, на нем старая вывеска «Продмаг», а рядом гости из будущего – будка с кока-колой и банкомат.

Иду по извилистой улочке, мощенной булыжником, кое-где стыдливо прикрытым одеялком асфальта, мимо старых сливовых деревьев и шелковиц, нежно покачивающих корявыми, узловатыми лапами, нежно-нежно, как танцующие

японские старухи в паутине истлевших покрывал.

Долго не могу найти дом № 3, он отбился от стада, заполз почти в начало парка, спрятался в кустах – желтенький, даже по стенам поросший сорняками.

Я обхожу его кругом, но все двери заколочены или заперты, и тропинки к ним заросли лопухами и кашкой. Лишь у одной я нахожу дорожку из кирпича, но вход для своих – кодовый замок, нет ни клавиш, ни домофона, войти может только тот, у кого есть ключ.

Я достаю мобильник, набираю номер, но абонент недоступен. Уже почти смиряюсь с мыслью, что буду орать под окнами, как потерявшаяся кошка, а что, здесь это вполне уместно: «Ма-а-ама, ма-а-ам, мультики не начались?» или «Сиро-о-о-ожа, иди обедать!», но тут из подъезда (не парадного никак уж) выходит какой-то подросток уже Сирожа, и я проскальзываю внутрь.

Если бы мыши умели писа?ть, они так бы и написали на стенах: «Здесь были мыши!» Да, здесь были мыши, они здесь пи?сали когда-то, давным-давно, в начале времен, а теперь осталась только тень, шлейф мирного, деревенского мышиного запаха.

Я поднимаюсь по выщербленной лестнице с чугунными перилами на последний (второй) этаж, тычу пальцем в пупку от звонка, но он не отзывается даже вздохом (и кто бы сомневался?). Стучу в дверной косяк, потому что сама дверь, двустворчатая, высокая, выпирает мягкими войлочными брюшками, обитыми дерматином.

Майка открывает сразу, будто ждала за дверью, и виснет у меня на шее.

Мы не виделись – сколько? – лет девять, но она совсем не изменилась – черноглазый воробей с темной прямой челкой, маленькая смуглая красотка.

– Глория! Глория! Как я рада тебя видеть! Сколько мы не виделись? Лет девять? Ты совсем не изменилась! В душ? Кормить? Чаю?

– Здравствуй-здравствуй, мой дружочек! Умываться, кофе – все потом. Хочу сперва к Артюше съездить. – Искренне обнимаю Майку, я тоже ей рада.

Есть связи, которые не рвутся, – и это так странно, мне, человеку, не жившему нигде дольше пяти лет, странно, что случайные попутчики, к которым относишься легко, пусть и с приязнью, остаются друзьями навеки.

– К Артюше – далеко, на другой конец города, – огорчается Майка, – а ты же с дороги...

– Ничего. Приеду – пощечем.

Тут я замечаю стоящую чуть позади Майки рослую, пухленькую девочку и спрашиваю:

– Неужели – Аська?

– А? Зверь! Видала? – И, обращаясь к дочери: – Вы знакомы с Глорией, просто ты ее не помнишь.

– Помню, – с застенчивой улыбкой говорит девочка, и мы с Майкой начинаем ржать и показывать на нее пальцами.

Она не может меня помнить, никак, в последний раз мы виделись, когда ей не было и года.

– Я помню. Платье в бабочках, – спокойно говорит Ася. Она не смущена и не напугана нашим хохотом. Дети, которых растят в любви, не знают страха.

– А ведь и правда, было платье, помнишь? – удивленно говорит Майка, и я киваю – конечно, помню, легкое шелковое платье, черное, в ярких, цветных бабочках.

– Аларм! Аларм! Среди нас ребенок с паранормальными способностями! – дурашливо кричит Майка и начинает щекотать дочь, которая в свои неполных десять выше родной матери на полголовы.

Ася с визгом и хихиканьем вырывается, убегает и запирается в комнате.

– Аська! Собирайся! Ты помнишь, мы должны ехать через час! Глория, извини, я не могу с тобой к Артюше, сейчас схему нарисую, как найти. Мы обещали помочь

Зинке, она ремонт затеяла... Переехали они сюда, к нам поближе... Давай я тебе кофе пока сварю.

- А я пойду умоюсь. Можно в ботинках?

- В ботинках, в валенках – как хочешь. Только я тебе сейчас там покажу... Мы сами недавно переехали, и папа там в ванной чего-то намудрил, – говорит Майка, а я думаю: вот оно, вот что изменилось – они больше не Майка и Кирилл, они – мама и папа.

Пока Майка сражается со своенравным краном, я брожу по дому.

Высокие потолки, беленые стены, просторная кухня-студия, мольберт, холст с тщательно выписанным натюрмортом «под голландцев».

Застекленный балкон, окна открыты, ветер как котенок играет легкой белой занавеской.

Клетка со щеглами.

С другой стороны – дверь, ведущая на широкую каменную террасу.

Если бы я и хотела быть кем-то еще, не собой, то маленькой черноглазой женщиной, живущей в таком вот тихом доме.

- Все, отрегулировала. – Майка выходит из ванной, вытирая руки. – Ты сама воду не закрывай, позови меня. А то у нас душ на людей кидается...

- Хорошо здесь...

- А, да. Осели вот. Аська растет, так что... Папа наш ездит, а я – дома.

И Майка, и Кирилл раньше оба реставрировали иконы, писали фрески, ездили по церквям, и ближним, и дальним – где заказы были.

Я иду в ванную, с наслаждением умываюсь по пояс, плещу водой в лицо, чищу зубы и выхожу мытая, смиренная, в белой измятой рубашке навывпуск, как подрасстрельный солдат.

Пьем кофе на террасе, курим, Майка объясняет мне, как доехать до Артюши.

- Это же на другой конец города... И там еще... Может быть, завтра? А сегодня отдохнешь, выспишься, пока мы к Зинке съездим, а?

- Нет, спасибо. Поеду.

* * *

День набирает силу.

Трамвай, визжа, лязгающей железной гусеницей вползает на главную городскую площадь. Я схожу. Мне надо будет сменить лошадей трижды - ехать и правда далеко. Получается такая обзорная экскурсия по городу для беспамятных дам.

Харьков, милый Харьков. Мы все здесь учились - и я, и Майка, и Артем.

Это сколько же мы не виделись с Артюшей, думаю я, года полтора? Последние пять лет мы вообще мало виделись. Разнесло по разным городам, учились, работали, любили кого-то, все некогда.

В последний раз виделись в Киеве, почти случайно, мы - команда файерворкеров - прибыли на гастроль, а Артем там работал на съемках какого-то рекламного ролика.

После выступления, утром, я поехала на студию повидать Артема, думала - на часок, кофе выпьем, посплетничаем и разбежимся, но вышло иначе.

Мы долго обнимались, хлопали друг друга по спине, как бывшие однополчане в старых фильмах.

Потом Артюша выкрикнул кому-то наверху:

– Фима, я уйду до вечера, ко мне братан приехал!

Из-за края пенопластовой стены, с лесов высунулся рыжий, длинный, типичный еврейский гангстер:

– Ты гад, Мехлевский! Работы полно... Хотя сиськи у твоего брата ничего, я бы тоже ушел до вечера...

Артем показал рыжему кулак, и мы на целый день бессовестно усвистели гулять по городу.

Поздняя весна, конец мая, солнце просвечивает сквозь густую листву – и мы, и тротуары от этого были леопардовыми, в солнечных пятнах.

Киев такой спокойный город, такой спокойный, этот неспешный, в нос, говорок местных маклаудов, которые никуда не торопятся (куда им торопиться, бессмертным?), и символ города, лист каштана, больше похожий на лист конопли, да и каштаны эти, ей-богу, всего лишь конопляные деревья, которым таки дали вырасти, и город полон их дыханием – насмешливо-неспешный, спокойный-спокойный, и время стекает с пальцев как мед.

Мы ходили, взявшись за руки, по Сагайдачного и по Андреевскому и на Труханов остров забрели.

Разговаривали? Нет. Не было это среди нас заведено. Потому и писем друг другу не писали, и звонили редко – что толку в словах?

Так и бродили весь день молча, много смеялись, показывали друг другу – смотри, какое интересное лицо, смотри, какой смешной, смотри, как красиво.

И мне становилось легко-легко, спокойно-спокойно, душу словно выпустили из оков, отчистили, как старую серебряную ложку, и она засияла.

Не то чтобы мне плохо жилось тогда, но я, как дурной летчик в непрочном самолетике жизни, все закладывала вираж за виражом, и петля Нестерова затягивалась, и перегрузки давали о себе знать. Поговорить было с кем, а помолчать – вот так – было не с кем.

Сладкий киевский вечер опустился трепещущим синим шелком, и мы пошли к вокзалу – пешком.

Мы стояли у поезда, и ладные цирковые девушки из нашей команды с гастрономическим интересом оглядывались на Артюшу.

А я думала: вот как он это делает? Ничего особенного, невысокий, сероглазый, родинка у левого уголка губ, но не было женщины, которая не приласкала его хотя бы взглядом.

Надо было прощаться, как-нибудь, что-то все же сказать, и я достала из рюкзака фотографию в рамке темного дерева, из тех, что обычно держат на столе:

– А у меня новый мужчина. Вот.

Артем долго разглядывал лысого, полуголого типа в индейских мастях, в серьгах серебряных, желтоглазого, с покатыми негритянскими плечами.

– Дурочка ты у меня, Гло, – сказал, целуя в висок, – опять себе какого-то негодяя нашла.

Я пожала плечами. Разумеется, негодяя, кого же еще? Как-то раз я ходила замуж, сглупу – за приличного человека. Институт брака был закончен, и теперь я знала о себе две вещи: замуж я больше не пойду, никогда, нет, и не просите, и – да – я люблю негодяев. И это мой осознанный выбор.

– А я... А я... – Артем вдохнул глубоко, как маленький, перед тем как признаться в страшном: – А я женюсь. На Зинке.

– Ну, круто, – сказала я без энтузиазма. Зинка мне не нравилась. Да кому они нравятся, эти гиены любви? Терпеливые девы со скулящим взглядом, вечно в слезах, неусыпно караулящие тех, кто однажды имел неосторожность завести с ними мимолетный романчик.

Их не любят, никогда не любят, любят кого-то другого – не их, с ними трахаются спьяну или от отчаяния, когда тот, «кто-то другой», забросал твое сердце камнями и срочно надо проверить – да жив ли ты? А они как-то сразу

втягиваются, и романчик становится романом века, а ты – героем романа, их романа, ты, засранец с израненным сердцем. И разве ты сам можешь бросить камень?

Да и бесполезно. Бьет – значит любит. Не любит – значит полюбит.

И они следуют тенью, выжидают. Другие женщины, работа, пьянство, буйство? Нет, ничем их не отвадить. Сидит, смотрит, глаза оленьи, только губы дрожат. Любит, б... И ты вроде как уже кругом подлец и виноват, потому что вот же, тебя любят – любого, и все тебе прощают – а просил ты или нет это все тебе прощать, никого не интересует, ведь любовь – это дар небес, святое, а дареному слону в хобот не дуют.

Впрочем, что я-то знаю о любви? Может, это она самая и есть.

– Она меня любит, – объясняет Артем (себе? мне?), – любит и любит. И я, знаешь, привык к ней как-то. И она, знаешь, беременна. Ребеночек у нас будет.

– Так это же здорово! Это просто класс! Что ж ты раньше молчал? Ай, какая красота!

Мы идем вдоль перрона, обняв друг друга за плечи.

– А я вот все никак... Не дает Бог детишек...

– Ты была бы очень хорошей мамой, – убежденно говорит Артем.

– Ай, брось...

– Точно тебе говорю. Ты заботливая. И нежная.

Я смеюсь. Наверное, Артем – единственный человек, который так обо мне думает.

Мы были знакомы – сколько? – лет двадцать. Точно, двадцать лет без трех месяцев.

Никогда не были любовниками. Друзьями? Да вряд ли. У каждого из нас, определенно, были друзья и поближе. Взаимопонимание? Не знаю, взаимопонимание принято подкреплять словами – хоть как-то.

Живопись нас связала, ага. В юности, еще до харьковского худилища, мы учились у одного мастера.

Смешной был старик, настоящий самурай, а выглядел как греческий бог, Зевс, громовержец, – высокий, седой, с курчавой бородащей.

Считался тогда новатором, нас, молодых львов, набивалось до сорока человек к нему в тесную подвальную студию.

Делали наброски тушью, падающий карандаш – три секунды, смятые листы бумаги, натурщик в движении, уголь, сепия, лепестки, облетающие с пахнущих полынью золотых хризантем.

Мастер наш был самодур и тиран, студенты выли от его выходок, но не мы с Артюшей. Нам-то он нравился – веселый, умный, резкий, точный. Кто же знал тогда, что в нас самих прорастает такой же тяжелый, безжалостный нрав, в нас, глупых, веселых щенках, разгорается это холодное, всепожирающее пламя – служения искусству? Ох нет, не люблю я слово «служение». И слово «искусство». И слово «творчество» не люблю. Это такой значок избранности, индульгенция, дающая право – на что? – чаще всего на заносчивость и лень.

А искусство – это же так просто, на самом-то деле. Это ремесло, и грязное ремесло – буквально грязное, вечно по уши в краске или глине, кто как. А то, что вы вкладываете и перезакладываете трижды и душу, и ум, и руки (да, руки прикладывают) – так это любой хороший сантехник, и врач, и архитектор делают то же самое. И не факт, кстати, что тогда ремесло становится искусством. Для этого требуются время и отрешенность, и резкость, и точность, но и тогда – не факт. Никто не может предугадать, перейдешь ли ты эту грань, сколько бы ни заплатил. Но этим, со значком, которые ремесло презирают, им точно ничего не светит.

Ну и магия, конечно, в этом есть – «материализация чувственных идей».

Химеру, порожденную воображением, ты можешь перевести в материал, перетащить в реальный мир – если хватит мастерства, разумеется. Магия – это большой соблазн, тебя сжигают и азарт, и любопытство, всегда страсть как интересно посмотреть, что за голем выйдет из твоих рук, насколько это будет близко тому, что тебе показывали там, в саду ярких образов.

Артем был настоящим художником – шелковая мавританская бородка, новенькая и нарядная, как весенняя трава, рубаха, уся у пятухах, клеша сорок сантиметром, фенечки-хайратнички, боже ж мой. И все равно, несмотря на весь этот маскарад, он был настоящим художником. Хорошим. Крепкая рука, верный глаз – как у индейца.

А я? Да я до сих пор этого не знаю. Но выглядела я тогда радикально неправильно, сейчас бы сказали – блондинко. Шпильки, шелковые платья, кудри до попы.

Прыжок в этот образ был совершен со страху – я зарабатывала на жизнь, обучая уму-разуму чужих собак, и как-то раз на площадке встретила двойника (а это, как известно, дурная примета – к близкой смерти) – немолодую женщину, пухленькую коротышку с широкими бедрами, завидными сиськами, но при этом стриженную под полубокс, в тяжелых ботинках и полувоенном прикиде.

Я была одета точно так же, только косы еще не обрезала да сиськи еще не отросли.

«А ну как отрастут? – с ужасом подумалось мне. – И что же, я буду выглядеть, как эта хрипатая тумбочка? Курить беломор (да, я курила беломор) и говорить, что я люблю собак больше, чем людей?»

Так легко любить собак больше, чем людей! Люди неуправляемы, их не заставишь любить по команде.

Она привела трех злобных до истерики овчарок, которые немедленно затеяли драку с другими псами, в том числе и с теми двумя доберманами, которых

привела я.

Вытащив своих бесхвостых из свары за яйца, я смылась домой и следующим же днем пошла делать завивку, покупать туфли и «Яву-100» вместо беломора. Дети впечатлительны, что уж.

Среди братьев-художников мой новый облик вызвал смятение – приличные богемные девушки так не одевались, приличные богемные девушки ходили в брючках, носили очки и не мыли голову. Ну в крайнем случае – темно-японская шаль, цыганские перстни и мундштуки.

Только мастер кровожадно обрадовался и устроил представление, когда я в таком виде вошла в аудиторию.

– Чу! Вижу женщину на горизонте! – жизнерадостно взревел он. – Проходи, женщина! Садись! Мы сделаем из тебя человека!

И каждый раз теперь меня встречали вопли: «Что я вижу?! Каблуки! Духи! Кудряшки!.. В храме искусства!»

Но однажды, когда я прибежала на занятия сразу после тренировки с моими монстрами, в джинсах и черной майке, он обиделся, как Карлсон:

– Ну, я так не играю... Ты сдалась... Я тебя задразнил, и ты сдалась...

– Мастер, я просто не успела переодеться...

– Никаких «не успела»! Где мои каблуки? Духи? Кудряшки? Кем я буду вдохновляться? Этими крысами? – Он презрительно обвел рукой притихших девочек в брючках.

Всеобщей любви мне это не добавило, и лишь Артем смеялся и не стеснялся таскаться со мной такой по полуподпольным блюзовым и рокабилли-вечеринкам.

Мы довольно много времени проводили вместе – бились над рисунком в студии, ходили вместе писать этюды, ну и концерты, всяческие тусовки, и все, что полагается богемным детям.

Разбегались только по любовь и по деньги – Артюша работал художником (настоящим!) в кинотеатре, рисовал жуткие портреты киногероев на огромных холстах, а я... Ну, я уже говорила – обучала агрессивных собак хорошим манерам.

И для любви у нас тоже были другие люди. Почему? Артюша был жутким бабником, и я – ветреной девицей, как же мы умудрились не переспать?

А вот. Кисмет.

Однажды, полные легкого, искрящегося веселья после легкого белого вина, возвращаясь с квартирника (наши крымские друзья-музыканты устроили потрясающий джем-сешн), мы запрыгнули в последний, ночной уже, троллейбус, идущий неизвестно куда, и стали целоваться на последнем сиденье, как это обычно бывает. И... перестали.

Мы не годились друг другу в любовники. Совсем. Какой-то сбой программы, на генетическом уровне – нет, нельзя, не надо.

Протрезвев от изумления, мы приехали ко мне, тихие, как мыши, и, растолкав собак, залегли спать.

Утром, нервно звеня ложечкой в стакане, Артюша неожиданно сказал:

– А можно, я у тебя поживу?

– Живи, – легко согласилась я. – Только баб не води. Заиками станут.

– Почему заиками? То есть я и не собирался... Я думал – поработаем вместе спокойно... Попишем...

– Да собаки же. – Я кивнула на ротвейлера, двух доберманов и кавказца. – Пробовал когда-нибудь трахаться при такой публике?

– Н-нет... Ну ты, яйцерезка, чего смотришь?

Кавказец Черт, терракотовый, с черной клоунской обводкой вокруг губ, недобро оскалился.

– Ша, Чертушка, иди на место, – сказала я. – Ну да, смотрят – они любопытные. Вздыхают. Могут подойти, лапой потрогать. Иногда подпевают. А один кекс мне такую истерику закатил, когда Анкель ему в процессе голову понюхал – это надо было слышать...

– Ну и хорошо, – сказал Артем. – То что надо. Никакого б...ства, одно искусство проклятое. Ты не против? Устал я что-то. Подумать надо, поработать. Спокойно. Устроим даосский монастырь имени Пу Сун Лина?

– Не, на монастырь я не подписываюсь. Предлагаю выездное б...ство, а дома – таки да, только работать.

Жить вдвоем оказалось чудо как хорошо. Некоторое равнодушие, поверьте, очень упрощает совместное существование – никто никого не дергает, не придирается, не требует никаких отчетов. Любовь – такая штука, она как бы сразу дает право вмешиваться в чужую жизнь, перекраивать ее под себя – это глупо, но почему-то так.

А формальное отсутствие любви приводит человека к мысли, что чужую жизнь надо принимать как уж есть – никто ведь не держит, не нравится – уходи, да и все. То есть фокус, я думаю, в том, что ты легко принимаешь чужую жизнь во всей первоначальной прелести, если не собираешься ее разделять. Мы и не собирались, и это вдруг дало нам и покой, и волю... Про счастье – не знаю, но покой и волю – точно.

Мы писали много обнаженок, по дому везде валялись голые женщины и бродили стада собак. Места было достаточно – просторная, полупустая комната с аркой, огромная кухня, высокие потолки.

По всем городским барахолкам у интеллигентных старух мы скупали потертые парчовые подушки, восточные покрывала, старые шали, тяжелые бусы и раскладывали наших дам в опиумных интерьерах.

В натурщицах недостатка не было – женщинам нравится нравиться.

Я училась у Артюши галантному разговору – и кто бы мог подумать, что слова так много значат для женщин?

Две вещи, запомните две вещи: женщин надо слушать, с женщинами надо разговаривать. Тогда они спокойны и счастливы. А счастливая женщина излучает свет, без шуток – тело светится, бросая теплые блики на шелк и бархат, ну и, может быть, на всю вашу жизнь.

Интонации у меня были самые подходящие – с детства привыкла успокаивать норовистых лошадей и свирепых собак, – так что я быстро научилась ладить с женщинами.

– Посмотри, какая ты красивая, ну посмотри, – мурлыкали мы хором какой-нибудь толстушке, – эти ямочки на локтях и круглые колени, и нежная кожа...

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/gloriya-mu/zhonglery-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)